

Катя Назаренко

Шустрик

12+

Екатерина Назаренко

Шустрик

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Назаренко Е. О.

Шустрик / Е. О. Назаренко — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Ее воспитала блокада. С войной десятилетняя Санька потеряла всех: маму, папу, любимого дядю Павлика, друга Мишу. Но только не свое сильное, мужественное сердце. "Спасти Ленинград" стало ее заветной мечтой, и она бросилась ему на помощь: помогала раненым в госпитале, тушила "зажигалки", бегала по квартирам с самодеятельными концертами. А еще читала со сцены стихи, и это принесло ей популярность. Через всю долгую жизнь, полную неожиданных событий и поворотов, Александра Семеновна пронесет главную цель - сохранить память о своем "блокадном детстве". Что бы ни произошло и кто бы ни встал на ее пути.

© Назаренко Е. О., 2019

© ЛитРес: Самиздат, 2019

*Елене Прокопьевне Лебедевой.
Школе №210 г. Санкт-Петербурга.
Ученикам театральной студии «КЭВС».
И тебе,
если обязуешься никогда не забывать.*

А она все жила.

За спиной маячили тесная ленинградская коммуналка, новая с иголки школа через дорогу, покореженная, потертая в войну, блокада, убитый на фронте отец, свадьба в старой, ношенной поколениями комнатке, педагогический институт, какой-то быстрый и очень острый для сердца развод, учительский стаж в сорок с лишним лет, пенсия, а дальше – все как полагается. Уже и дети выросли, и внуки, и даже правнуку Димитрию исполнилось три года. А ей было 86., и она все жила.

Не удивлялись, конечно. Восемьдесят – не сто ведь. Но кое-где вздыхали над ее морщинистым лицом и косо поглядывали, когда она в магазине пыталась права свои отстоять или в давке трамвайной пробивалась. Старуха на то и есть старуха, чтобы молчать, а эта куда лезет, с правилами своими, совдеповскими? Давно пора честь знать да в огороде цветочки сажать.

А ей не хотелось цветочков. Она еще тогда, в сорок первом, поняла, как жизнь любит, когда девятилетней девчонкой вызвалась «зажигалки» тушить да в госпитале за ранеными ухаживать. И в самодеятельности плясала, и по соседям бегала (это сначала бегала, а потом все чаще ходила, переставляя деревянные ноги) – веселила шутками да прибаутками, чтоб не скучали, не поддавались унынию и тоске той, блокадной. Видела, как война не только физически, но и морально угнетает. И депрессии видела, и плач беспричинный. Потому и в эвакуацию никакую не поехала, а только за комодом пряталась и искусно, артистично билась в истерике, до исступления, крича, что скорее ляжет под поезд, чем сядет в него, пока мать сама не опустилась на пол и не завывала в голос.

Жалела она всех: родных и знакомых, и город свой с львиными головами на замерзших, гоняемых осенним ветром площадях и проспектах. А жалость к другим, как известно, дает сил помогать. Вот и помогала, как могла, не разрешая себе ни плакать, ни горю поддаваться. Хватит с нее. Насмотрелась. Да и далеко за примерами ходить не надо – силы мать покинули еще осенью, а Санька зубы стиснула и не просто жила и мать выхаживала, а в других еще эту жизнь вселяла. Не могла она так просто с ней расстаться в девять лет. Любовь к львиным головам, к краскам природы да к небу, любому: серому, сумрачному или солнечному, кой цвет она уж и забыла той зимой сорок первого – любовь эту она еще с первой фашистской бомбы в себя втиснула. И когда увидела соседа с пистолетом у виска, с синими от холода зубами и впалыми, какими-то блуждавшими глазами, даже не охнула, а подскочила и выбила пистолет из слабых дрожащих рук. И откуда только силы взялись? А подскочив, сама упала и пролежала так еще добрых полчаса, и продрогла до костей, впрочем, они недалеко от кожи торчали. Лежала, тяжело дышала и только благодарила судьбу за то, что не в снегу она сейчас, не в мерзлой земле возле кромки воды, а в квартире, пусть онемевшей от холода и тоски проклятой. Как поднялась – одному Богу известно, лишь рассмеялась перед изумленным соседом от того, что жизнь сама к ней в руки спешит. Жизнь, а не смерть, как казалось соседу, матери и еще многим в этом измученном городе.

Бойкой она всегда была. Ее еще до школы прозвали – «Шустрик». Школа, где она успела закончить второй класс к началу войны, находилась на проспекте 25 Октября (Невском проспекте), недалеко от площади Урицкого, ныне – Дворцовой. До революции здесь был доходный дом, а после собирались строить банк, но проект отложили, и участок пустовал вплоть до 1939 года. Школу возвели за пятьдесят четыре дня, и семилетняя Санька, с любопытством погля-

дивая на свое, как она сама говорила, «будущее», активно участвовала в процессе. Собрав во дворе ватагу из доброй дюжины босоногих ребят, Санька подошла к рабочим и звонко заявила, что у нее, как у любого советского человека, есть долг перед Родиной, и этот долг – помочь в строительстве собственной школы. Рабочие посмеялись, но благодаря Санькиной организации, в уже почти построенной школе тринадцать пар рук мыли полы, вытирали стены, таскали стулья и, кряхтя, водружали на подоконники горшки с цветами.

Школа открывалась 6 октября 1939 года, о чем Санька недовольно (ведь приходилось ждать еще целых полтора месяца) рассказывала самому веселому рабочему – дяде Павлику, пока тот угощал ее чаем. Дядя Павлик посмеивался, гладил Саньку по голове и совал ей в тарелку куски сахара. Чувствуя, что уже переела, она отказывалась (ах, как она потом вспоминала эти кусочки спустя два года!), только ворчала, любовно глядя обложки новых учебников.

На линейку Санька шла уверенным шагом, важно помахивая белым бантом на голове и отцовским портфелем в руке. Эта школа была не просто школой, а *домом*, который она обустроивала своими руками. И пусть то, что она делала сама, занимало лишь двадцать пятую часть всей работы, было чем гордиться. Ее ноги обходили это здание вдоль и поперек, ребята, собранные на стройку, были ее заслугой, и указания, которые она раздавала, были поручены именно ей, а не кому-нибудь, и не кем-нибудь, а самим директором школы. Среди детей она, конечно, считалась там самой главной и самой активной, потому дядя Павлик и придумал смешное прозвище – Шустрик.

Так и в классе повелось. Было в этом довольно популярном слове что-то ее, конкретно Санькино – не просто бойкость и веселость, а быстрота и сообразительность, и добродушие характера, и сила воли, и жизнелюбие, и даже напор какой-то. Напором она обладала замечательным: если что-то решила, будь здоров – Санька все получит.

Арифметика ей удавалась – задачки как орешки щелкала. А вот с чистописанием была беда. Мария Петровна, учительница, выше тройки оценку не ставила, а однажды, увидев сразу две кляксы в строчке, вывела жирную двойку.

С тех пор Санька каждый вечер просиживала над письмом. Не была ей присуща аккуратность, а то, что природой не дано, надо наверстать. Эти слова отец раз двести говорил, и стыдно было в школе, «ее руками построенной», такие отметки получать. Вот и корпела над тетрадкой.

И еще деньги копила. На торт, чтобы при первой же четверке купить, и родителям за ужином вручить – мол, глядите, какая у вас дочь растет.

А получила сразу пятерку, и, не помня себя от радости, первым делом рассказала об этом маме, и вечером они ели целых три торта – оказалось, что каждый в семье ждал Санькиного успеха.

И было это в октябре сорокового, когда двор утопал в сумерках, на улице уже зажглись фонари, и запоздалые прохожие спешили в свои квартиры. А дома было тепло и уютно, и Санька в шутку гремела ложкой по столу, чтобы поскорее подавали ужин, и мама, такая красивая в своем лучшем платье и раскрасневшаяся от жара примуса, ставила на стол курицу и маслины, а потом они ели три торта сразу и хохотали, рассматривая старые фотокарточки... А после сонную, хлопавшую глазами Саньку отец осторожно нес в постель, и от него приятно веяло привычным одеколоном и свежeweыстиранной рубашкой. Совсем не так, как спустя несколько месяцев – грубой военщиной и сырой, прелой гимнастеркой.

У Саньки, как у любого ребенка, была хорошая память на запахи. Тогда, в сороковом, пусть даже хмурой осенью пахло не просто отцовским одеколоном, а целым миром и свободой. И пусть боялась она темных ночей и мрачно-тихого двора – уже через год многое бы она отдала за эти ночи. Никогда еще так рьяно к темноте не привязывался животный, тянущий душу страх смерти...

Но Санька жила. Жила, повидав смерть отца, когда пришлось укладывать в госпиталь худую как жердь, почти бездыханную, мать. Сломил ее похоронка, и без того совсем больную и упавшую духом. Сила духа, оказывается, в трудную минуту проявляется – это Санька узнала, когда ее всегда веселая и здоровая мать переживала третий месяц блокады. Ночами она слышала, как мать шептала имя отца, а утром, не выспавшаяся, с застывшими кругами под глазами уходила на службу. Эти темные круги, как и запахи – войны и довоенный – Санька в свою память навсегда записала. То были круги не просто голода, усталости и недосыпа, а «круги смерти» как нарекла их Санька. Но тут же быстро отмела это название. Нельзя было унынию поддаваться – жить надо было. И со злостью глядя на гудящие в притихшем небе самолеты, Санька бормотала, что, когда смерть на порог заходит, жить сильнее хочется. Жизнь идет в руки тех, кто ее ждет.

Но только мать так не считала. Она даже Саньку вроде как замечать перестала, была угрюмой, мрачной, за три дня – два слова, и только кромсала свои 125 граммов на куски, молча и как-то неловко подпихивая их Саньке дрожащей рукой, пока та не взвелась, не вскричала, чуть было не раскидала весь хлеб, но вовремя опомнилась. А опомнилась потому, что увидела, как мать, прежде сурово бы нахмурившая брови, заметив такое поведение, смотрела сейчас на слипшиеся, жалкие куски хлеба и молчала. Старый мохнатый платок обрамлял застывшее с безразличным, покорившемся судьбе взглядом лицо, и вся она как-то скукожилась на стуле, что Санька даже не понимала, слышит она ее или нет. Санька испугалась – лучше каждодневные слезы, чем этот безликий, полный равнодушия взгляд, это она тоже давно усвоила! Взгляд, как будто вся жизнь из человека вышла, и все равно ему, что дальше будет: живет как льдинка во время таяния – плывет себе по течению, и если расколется, то так тому и бывать.

А всмотревшись в глаза, выдохнула с облегчением: было в них две крохотных слезинки, да только не могла мать плакать – все выстрадала, выплакала с того самого дня, как муж ушел на фронт.

Здесь Саньку и пронзила жалость. И она почувствовала, что в груди у нее не сердце, а комочек, который сжался, стиснулся и никак не хочет разжиматься. А еще поняла, что хозяйка в доме теперь она – без пяти минут десятилетняя девчонка. И мать надо научить прежде жизни радоваться, в светлое, доброе поверить, а пока что Санька здесь – всему указ. Она собрала в кучку хлеб и потихонечку скормила его матери, и ела сама, чувствуя, как разыгрывается аппетит и текут слюнки, когда внезапно почудились ей перед собой три торта с хрупкими масляными розами и куски сахара, которыми угощал дядя Павлик.

Так и жили они вдвоем, держась на Санькином оптимизме и вере в лучшее, пока не пришел этот крохотный лист бумаги. Санька тогда работала в госпитале – читала больным газеты, стирала бинты, одежду, рассказывала раненым стихи. И так ладно рассказывала, что весь Аничков дворец сходил послушать. В тот день Саньке особенно хлопали. А потом завалили подарками: книги дали, рукавицы вязаные, а одна медсестра – махонькое сморщенное яблочко. Санька так и обмерла – она уже и вкус-то его забыла, и потому спешила домой, летела просто на деревянных своих ногах, а яблоко все крепче к груди прижимала, представляя, как обрадуется, весело захохочет мать. И уже видела эту возникшую из недр памяти улыбку, как, придя домой, обнаружила мать в кровати, с полумятым листком в руках. Она была еще жива, только плохо дышала, и Санька, не помня себя от горя и даже не успев мысленно попрощаться с отцом, как-то резко ощутила боль и старость во всем теле и, спотыкаясь, побрела искать хоть одну живую душу в этом вымершем доме. Нет, живых она, конечно, знала – не зря каждый вечер просиживала то у одних, то у других соседей, да только люди в тот год умирали не по дням, а по часам, и Санька боялась, что этот холодный дом совсем опустел.

Она никого не нашла, и, сама не зная зачем, вышла на улицу. Куда-то брела, а перед глазами стояла пелена от разыгравшейся внезапно бури. Изо всех сил пыталась удержаться Санька на разъяренном ветру, но брякнулась оземь. «Как труп брякнулась», – подумалось тогда ей, и

она спокойно вздохнула, смиряясь с тем, что теперь уже все равно. Ни смерти – ничего она не боялась, но тут же испугалась этой самой мысли. Дикая она была, непоправимо дикая, и нельзя так думать, когда враг на подступе к городу, и закричала Санька так громко, как только могла, и застучала слабыми руками и ногами по хрустевшему снегу – звала на помощь. И неизвестно, что было бы дальше, но тут она почувствовала, как чьи-то сильные руки подхватили ее и поставили на землю.

Дядю Павлика Санька узнала сразу – он был в военной форме, такой молодой и красивый, с блеском в глазах, столь не сочетавшемся с той суровой порой, что ей на миг показалось, будто бы само солнце ворвалось в ее некогда конченную жизнь.

Дядя Павлик помог устроить мать в госпиталь, но та долго не прожила – скончалась на следующий день. Он позвал товарища, и до самого Волковского они втроем тащили на саночках завернутую в одеяло мать. Под вой метели взывала и Санька. А после того затвердело в ней все, заостенело, и уже ни слез, ни рыданий, а только тяга к жизни, к свету солнечному, к травке да цветочкам, только не тем, пенсионно-огородным, какие после, уже в двухтысячные, проповедовали ей косноязычные, а к тем, чьими ростками наслаждаешься, в коих жизнь видна.

Дядя Павлик, только что выписанный из госпиталя и со дня на день ожидавший отправления на фронт, устроил Саньку в приют, где она и справила свой десятый день рождения.

И Санька снова жила. Наступило 31 декабря, и это был самый плохой и бедный Новый год, который она когда-либо видела. Накануне ей снился стол, до потолка заваленный едой, и вошедшие в комнату дети. Даже во сне Санька чувствовала, как радостно бьется сердце, когда она увидела восхищенные... нет, здесь слово не подобрать, какие глаза были у детей, смотревших на стол. Ребят было много – все ленинградцы вошли в комнату. Здесь был и Санькин одноклассник курчавый Миша Алексеев, с которым они вместе тушили «зажигалки» и ходили за водой к Неве, и маленькая соседка Катя Еремко, умиравшая от какой-то болезни еще в ноябре, и, кто знает, живая ли еще? И Витька Услаев, угрюмый паренек из приюта, лишившийся сразу пятерых: двух братьев, родителей и бабушки. И Боря Новосельцев, так здорово сочинявший стихи и, кажется, уехавший в эвакуацию еще с первой волной. И пятилетний Валечка с первого этажа, хныкалка, который все время обижался на маму за то, что она не хотела его кормить.

И все они схватили ложки размером с добрый черпак и принялись поглощать еду. А Санька стояла рядом и, заливаясь радостным смехом, смотрела, как прямо на глазах они превращаются из дистрофичных серых скелетов в упитанных розовощеких мальчишек и девчонок. Наевшись, они, не помня себя от радости, принялись кружиться по комнате, а после выбежали во двор. Возле ее, Санькиной школы, сидел какой-то фашист с корзиной яблок, и своими противными усами кусал гладкую зеленую кожуру. Усы росли по секундам, и дядя Павлик кидал в них зажигательные бомбы, но никак не мог попасть. И тогда Санька вскрикнула и ринулась к этой наглой роже, и только одна цель была у нее – отомстить. За все отомстить. А в первую очередь за отца с мамой, и за маленькую Катю Еремко, и за несмышленного Валечку. Да только чем больше приближалась она, тем сильнее отдалялась от нее школа, и тем хуже становился виден фашист, пока не превратился в маленькую точку, и не исчез насовсем.

Санька проснулась в тревоге. Она долго не могла понять, какая мысль ее гложет, и до полудня ходила в каких-то странных думах. Вроде бы утро было как утро – мороз, безжизненность за окном, хочется есть, жутко кашлявший за стеной, недавно привезенный мальчик. И тут она вспомнила. Еще ни разу с начала войны не думала Санька о школе, а сейчас ее пронзила неожиданная мысль: школу могут разбомбить.

Эта мысль не была бы такой давящей, если бы Санька не помнила, сколько труда они вложили с дядей Павликом в ее строительство. И с тех пор принялась усиленно, не покладая рук, работать, чтобы поскорее прогнать фашистов, чтобы не успели они ручонки грязные протянуть до ее новенькой, аккуратной школы.

Она не чуралась никакой работы: скидывала с крыш «зажигательные» бомбы, помогала воспитательницам с маленькими в приюте, готовила витамины из еловых веток, смазывала на чердаках деревянные перекрытия огнеупорным составом, и по-прежнему читала в госпитале стихи.

«Артисткой растет», – пророчили больные и вручали ей подарки. А она молча несла их в приют, порою кусая до крови губы, чтобы не смалодушничать и хоть разок не лизнуть карамель на палочке и не попробовать такой маленький, но пухленький двадцатипятиграммовый кусочек сыра.

И каждый вечер, выходя из госпиталя, Санька не сворачивала на набережной Мойке к приюту, а проходила дальше, вдоль Невского. Темными окнами, узкими железными воротами глядела на Саньку любимая школа. И Санька изо всех сил боролась с желанием подойти к ней и погладить шершавые коричневые бока – сторона считалась «солнечной», четной, и потому наиболее уязвимой – гитлеровцы вели обстрел с южных направлений. Да и школа тогда была не школой – в ней находилось общежитие для бойцов аварийно-спасательной команды, и Санька беспокоилась, как бы они «чего не испортили внутри».

Однако приходиться туда стало своеобразным ритуалом, и уже поздней весной, когда на город надвигались белые, налитые теплом и светом ночи, Санька подолгу сидела на тротуаре напротив, полусшепотом рассказывая школе о прошедшем дне.

В приюте за Саньку переживали. Голод доводил людей до сумасшествия, зимой началась охота на детей, и воспитательницам не нравилось, что вечерами Санька возвращается одна. В одну из пятниц февраля, когда в госпиталь поступила большая партия раненых, полуживых «блокадников», Санька, обессиленная и продрогшая насквозь, вошла в приют совсем поздно. Разозленная воспитательница, не выдержав, заперла ее в комнате на ключ, пообещав, что в ближайшую неделю она никуда не выйдет. Но на следующий день в комнату ворвался молодой санитар и долго кричал, чтобы ее немедленно отпустили – без Саньки в госпитале не жизнь. Вечером воспитательница извинилась перед Санькой, но та не обижалась. Она вообще отвыкла обижаться еще тогда, в декабре 1941, когда мужчина непонятного возраста скелетными руками попытался на улице отобрать у нее хлеб, но, потянувшись за ним, не удержался на ногах и упал вниз лицом. А упав, больше не пошевелился.

В мае Дворец пионеров (Аничков дворец) снова отдали под кружки блокадным детям, и Санька поступила на работу в военный госпиталь.

И здесь в мгновение ока она превратилась в знаменитость. Осенью 1942 ее стихи записывали на ленинградское радио, а после спланировали почетный концерт. Прийти на него собрался не только весь госпиталь, но и районное начальство, и служащие разных организаций, и Санька, оценив всю важность мероприятия, решила во что бы то ни стало выучить новое произведение.

Она обычно выбирала «легкие» стихи – детские и смешные, руководствуясь тем, что раненым нужно «жизнь к себе притягивать». А тут, долгое время проломав голову, наткнулась, наконец, в газете на новую поэму. На одном выдохе прочитав ее, Санька почувствовала, как влюбилась в строки.

– Это не для тебя, деточка, – ласково сказала няня в приюте, когда Санька показала ей стихи. – Тебе еще рано.

Рано? А мать на кладбище на санках везти – не рано? А сбрасывать «зажигалки» под свист пуль? Да эта поэма с Санькиной жизни списана!

Два дня она зубрила ее в приюте, и два вечера репетировала перед школой.

А в назначенный день в чистеньком заштопанном платье, с алым галстуком на худенькой шее Санька вышла на сцену и серьезным взглядом обвела зал. Она очень волновалась, хоть и смотрелась крайне уверенной. В Аничковом Санька привыкла видеть худые костлявые лица и впалые глаза ленинградцев, а здесь было куда больше военнослужащих. Раненые, тяжелора-

ненные, с перевязанными ногами, руками, головами внимательно взирали на нее со всех концов зала. Чуть лысоватые начальники, усталые санитарки, изнуренные работой врачи, кое-где – дети также мелькали среди рядов. Она наткнулась на добродушную нянечку из приюта, и, слегка улыгнувшись, звонко произнесла:

– Ольга Берггольц. Февральский дневник.

Не видела Санька ни зимы той, ни мерзлой Невы, ни голода, ни стужи. Читала, всей душой желая приближения финала, самых любимых своих строк:

*Двойною жизнью мы сейчас живём:
в кольце и стуже, в голоде, в печали,
мы дышим завтрашним,
счастливым, щедрым днём, –
мы сами этот день завоевали...*

А видела она перед собой то, о чем подолгу мечтала холодными блокадными вечерами: гордые львиные головы на залитых солнцем площадях; украшенный флагами Невский, а в самом его начале стоит школа, из окон которой машет Саньке отец, держа за руку маму. А рядом веселый дядя Павлик, в строительной робе, и хохочущий, толстый-претолстый Миша Алексеев с яблоком и тремя тортами в руках, и смеющаяся няня из приюта... И на последних строках Санька, прижав кулачки к груди, трогательно улынулась, в глазах ее блеснули лучики воображаемого и реального, заглядывавшего в зал, закатного солнца и почти невидимые слезы счастья, которое где-то, вот уже за поворотом, медленно приближалось к ленинградскому пути.

А прочитав, замерла: ни один человек ей не хлопал. Застывшие как лед лица глядели на нее, и Санька, мигом забыв недавнюю радость, испугалась, судорожно соображая, что же она могла напутать. Видно, права была нянечка...

Но тут в зале началось нечто необыкновенное. Все взорвалось топотом и оглушительными воплями, в голос зарыдали женщины, а раненные военные то там, то здесь принялись рвать на себе бинты, хриплым голосом крича, что они здесь щи проедают, а там дети гибнут, и пора им на фронт – пусть выписывают ко всем чертям! И если такие девчонки с болтающимися галстуками на почти невидимой шее вместо кукол стихи про свистящие снаряды да трупы на скрипучих санках читают, как жизнь свою пересказывают, то, что же на Земле-то нашей творится, товарищи? «А этой маленькой, ей в артистки надо, а не «зажигалки» тушить, да хоть накормите вы ее, Христа ради...». «Да ведь у меня такая же с мамкой под Саратовом осталась... Только там теплее, и нет этого хлеба тягучего, 250-граммового, и скрипучих санок тоже нет...»

И Саньку благодарили, и пожимали руку; три раза кричали «бис» и просили прочесть «что-нибудь еще». И это «что-нибудь» превратилось в десяток самых разных стихотворений. Звонким голосом лились из ее уст Тютчев, и «Бородино», и Маяковский («Крошка-сын»), и даже «Мойдодыр» Чуковского. А в перерывах Санька с нежностью обнимала букет настоящих полевых цветов, рассматривала книжку с цветными картинками, и даже позволила себе попробовать карамельного петушка – теперь их у нее было целых три штуки.

И домой она возвращалась не одна, как прежде, закутавшись в огромный мамин платок и тревожно озираясь, а с тремя веселыми офицерами, упросившими медсестер «прогуляться» вечерком, и с воспитательницей, той самой, которая некогда запирала ее в комнате. Воспитательница была молодой и симпатичной, и среди балагуров – офицеров тоже нашелся такой, молодой и симпатичный, и Санька под конец устала слушать дурацкое хихиканье в ответ на любую его шутку.

Офицеры смеялись, рассказывали фронтовые истории, и Санька хохотала вместе со всеми, чувствуя ощущение того, что это, может, не лучший, но один из самых замечательных

дней ее жизни. И хоть в тот октябрьский вечер 1942 года до конца войны дней оставалось больше, чем прошло (о чем Санька, конечно, даже не догадывалась) – во всем ее теле, как и во всем городе с львиными головами, еще голодном, еще не согретом, но уже пережившем самую страшную зиму на свете, складывалось ощущение чего-то важного, гордого, победившего тьму и бездну. И Санька была необычайно, бесконечно счастлива.

А спустя год и три с лишним месяца, стоя в толпе таких же закутанных и замурованных в шапки и телогрейки людей, она заворожено наблюдала, как, вращаясь и стремительно набирая высоту, взлетают огненные искры салюта, освещая Петропавловку, Дворцовую площадь, замерзшую Неву, мосты – весь Ленинград. Ее Ленинград. И Санька радовалась тому, что гремят залпы, означавшие праздник, а не наступление боя, и можно больше не бояться этих страшных как смерть ночей, бомбежек и лютой зимы, а начать, наконец, детство по всем правилам. Как полагается. Учиться в школе, гулять во дворе, бегать на речку. И надо обязательно найти Мишу Алексееву, с которым они не виделись много лет, и помочь восстановить рухнувшее здание неподалеку от госпиталя, и, конечно, написать на все фронты дяде Павлику... Уже сонная, расстилая постель, Санька подумала, что 27 января 1944 года у нее возникло столько планов, сколько не было за всю ее крохотную, но такую долгую жизнь.

Дядя Павлик ее сам нашел. После Победы, в сорок пятом он приехал в Ленинград и не узнал города. Всюду шли строительные работы, розовощекие, утопающие в пыли, мальчуганы таскали доски, стелили крыши, босоногие девчужки с длинными косичками, хохоча, отмывали стены, красили парадные. Во дворах бегали детишки, няньки с книжками отдыхали на скамейках, старички играли в домино и шахматы. Город жил, и, казалось, здесь никогда не было «темных кругов» под глазами – кажется, так Шустрик называла ленинградскую смерть.

Их переписка оборвалась в сорок третьем, и дядя Павлик понятия не имел, где находилась Санька. Он писал в приют, но уведомления не приходило, звонил в госпиталь – ему отвечали из Дворца Пионеров, пробовал поехать в Ленинград – не пустили. Находясь на первом украинском фронте и, узнав из газет, что блокада, будучи прорванной вот уже целый год, полностью снята, дядя Павлик радовался как никто другой. По Саньке он скучал, жениться пока не удалось, ехать ему было не к кому, и, окончив войну под Прагой, дядя Павлик решил срочно разыскать своего Шустрика.

Если бы ленинградские военные газеты тиражировали по всему Союзу, дядя Павлик непременно бы узнал, что Шустрика печатали в газете с фотографией и подписью «Гордость Родины». В двенадцать лет Санька получила медаль «За оборону Ленинграда».

А Санька, благодаря всесоюзным газетам, знала, что дядя Павлик у нее – орденосец двух «Красных звезд» и еще Отечественной I степени – про него была целая статья. И Санька свято верила, что когда-нибудь они снова встретятся, и как раньше будут пить чай с сахаром в маленьком вагончике для рабочих.

Был душный июльский вечер, когда дядя Павлик нашел Саньку. Через дорогу от школы она сидела на тротуаре, оперев подбородок в колени, и задумчиво смотрела вдаль. Словно так и не решаясь перейти на «ту» сторону, Санька глядела на коричневое побитое здание, на фасаде которого с весны 1943 года виднелась облупившаяся, еле заметная красно-коричневая надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Санька была такой же худой, только на щеках появился небольшой румянец, и волосы у нее заметно отросли, а упрямая челка немного прикрывала глаза. Мало изменившись, она все же подросла и заметно посерьезнела, и дяде Павлику внезапно пришла мысль, что она могла стать совершенно другой, не по годам взрослой, и он остался для нее в прошлом, довоенном времени.

– Шустрик... здравствуй... – неуверенно и смущенно произнес дядя Павлик – не знал, какой реакции ждать.

Санька вздрогнула, повернула голову и внимательно окинула его своим серьезным взглядом. Секунду она смотрела на него, после чего ее лоб прорезала морщинка, а глаза удивленно расширились, и тут она заорала так, что он невольно отшатнулся.

– Дядя Павлик!!! – Санька бросилась к нему на шею, и он почувствовал, как окрепла и подросла она за это время.

Оказывается, он зря волновался: Санька также любила его и ждала, и пусть в свои тридцать восемь лет он не нашел жены, но что ж, зато дочка будет загляденье.

Саньку уговаривать не пришлось. Кросс по инстанциям они начали в июле, а закончили в конце сентября. Скромный дядя Павлик не хотел хвастать орденами, а честно пытался доказать, что с Санькой они знакомы давно и вреда он ей не причинит, и кормить будет, и обувать...

– Кто такой? Откуда знаешь? – одни и те же вопросы сыпались повсюду, пока Санька не закатила истерику в одном из бюро, размахивая орденом – своим и тремя – дяди Павлика, тыча пальцем в какие-то газеты. И теткы сжалились. Все дети – сироты каждый второй, так пусть хоть одна счастье обретет.

И дядя Павлик зажили с Шустриком.

Жили они все в той же коммуналке, в комнатке, доставшейся Саньке от родителей, и всем хозяйством ведала она. Дядя Павлик с утра уходил на службу, а Санька, отучившись в школе, получив скудный паек по талонам и приготовив наскоро обед, бежала в литературный кружок в Аничков дворец. С детства познав ценность жизни, она стремилась использовать каждую ее секунду и никогда не сидела без дела: прилежно занималась, ходила в музеи, помогала в восстановлении города и, конечно, читала стихи.

В Аничковом ей нравилось: в кружке разбирали сочинения классиков, делали обзор книжных и журнальных новинок, устраивали встречи с писателями и критиками. Стихов она знала много – около полусотни, но, не желая останавливаться на достигнутом, решила каждую неделю выучивать по три, а то и по пять новых произведений.

Иногда она предавалась воспоминаниям и скучала по временам в госпитале, когда веселые военнослужащие внимательно слушали ее стихи. Не то, чтобы ей нравилось быть в центре внимания – нет, люди жили в одной системе, были объединены общей целью – победить. И где бы ты ни находился – в танке на передовой, или у станка в цехе, или как Санька – на сцене в госпитале – любой труд по миллиметру приближал победу.

Но вспоминая жуткие черные ночи, Санька передергивалась. А задачу перед собой поставила новую – надо строить, поднимать из-под развалин Ленинград.

В школе она училась хорошо. Заставив себя еще во втором классе наверстывать то, что плохо дается, Санька не изменила своей привычке и спустя годы. Она бойко чертила, на пятерки писала сочинения, а уж на литературе отвечала – весь класс заслушивался. Ей давался английский, запоминалась история, но беда была с русским. Голова легко заучивала правила, но как применить их на практике – Санька не знала. И как только за очередной диктант Санька получала двойку, она тут же принималась исправляться, часами просиживая над заданиями.

Училась она теперь в школе по соседству – после введения в систему образования раздельного обучения ее «альма матер» заняли мальчишки. Санька недолго переживала – в школу она по-прежнему забегала, а в новой, «не своей», появились крайне важные дела.

Послевоенные ленинградские школы отличались нехваткой учителей и помещений, и потому на весь район их работало две-три, набитых до отказа. В классах было полно второгодников – из-за болезни в «блокаду», плохого обучения в эвакуации, недоедания, буквально нищенствования дети отставали по программе. Зимой в кабинетах по-прежнему стоял жуткий холод; питания, книжек, спортивного инвентаря не доставало. Школьников из полных семей практически не было, учителя не успевали отслеживать дисциплину в классах из сорока пяти человек, и дети были предоставлены сами себе.

За дисциплину взялась Санька. Ее воспитала блокада, и, будучи всегда самостоятельной, Санька решила помочь подрастающему ленинградскому поколению, занявшись общественной работой.

Она попросилась вожатой к октябрятам, и с тех пор не отставала от своих подопечных ни на минуту: проверяла готовность к урокам, водила в столовую, придумывала утренники. А после занятий бегала по дворам, вытаскивая оттуда детвору, чтобы усадить за домашние задания.

Каждую субботу Санька устраивала экскурсии по историческим местам Ленинграда. Шумной толпой они проходили вдоль Невского, сворачивали к Зимнему Дворцу, шли по Петроградке, спускались к Неве – пускали камешки в ее пенящиеся волны. Для Саньки главной достопримечательностью в городе служили львы – по мере приближения к постамам ее голос стихал, шаги замедлялись. Она заглядывала в добрые и мудрые львиные глаза, улыбаясь горделивым, спокойным взглядам, и ее мысли уплывали куда-то далеко-далеко... Прекращали разговоры и дети – замечая, с каким трепетным восторгом смотрит на скульптуры вожатая, они осторожно протягивали руки и заботливо гладили холодные каменные гривы.

О Ленинграде Саньке было что рассказать, и зачастую к школьной экскурсии присоединялись взрослые прохожие, случайно становившиеся свидетелями этого незамысловатого действия. Бойко повествуя, Санька вела своих «туристов» по узким ленинградским улочкам, и казалось, что никто не знает города лучше, чем эта маленькая серьезная девочка.

– Шустрик, все глаза просидишь, – в один из вечеров мягко сказал ей дядя Павлик, оторвавшись от газеты и посмотрев на согнутую спину Саньки. Она сидела за столом, уткнувшись в книги, – готовилась к очередной экскурсии. – Может, делать вылазки реже? Ты совсем замотанная.

– Нет, дядя Павлик, – вздохнула Санька и откинула косички за спину. – Взялась так взялась. Посуди сам – они ничегошеньки не знают, эти малыши. По Васильевскому не гуляли, львов ни разу в жизни не видели. Блокаду-то не помнят, только отголоски залпов где-то в памяти всплывают.

– Это славно, Шустрик. Счастливые дети.

– Вырастут и совсем забудут, – покачала головой Санька.

– Да зачем же про это помнить?

– Война – теперь наша история. Пережитое нужно детям передавать, чтобы больше такого не повторилось. Верно?

И она серьезно посмотрела на него. Внезапно дядя Павлик вспомнил, как подобрал ее на снегу, как испугался за ее жизнь и, поставив Саньку на землю, увидел этот самый серьезный взгляд... В глазах что-то защипало, и он, сославшись на головную боль, быстро вышел из комнаты.

Не только октябрята 1 «Б» любили Саньку, но и обе школы – «мальчишечья» и «девчоночья» – ее знали, и если не любили, то уж точно уважали. И не только за орден, о котором, кстати, Санька никому не рассказывала. Конечно, все о нем и без того быстро прознали – ребят-орденоносцев было мало, но все-таки они были. Санька была девчонкой что надо. Стихи читала со сцены – обхохочешься, а экскурсии вела так, что закачаешься – даже старшие классы приходили послушать. Мальчишки ценили ее косички, а девчонки завидовали большим серым глазам и стройной фигурке. Без нее не обходилось ни одно мероприятие, а еще она хорошо училась, помогала с домашними заданиями, работала на какой-то реконструкции здания и, говорят, своими руками строила эту самую школу.

Учителя ставили ее в пример, называя «образцовой», но ребята не обижались. Видано ли – выступала по радио, значится в газете, и сама Ольга Берггольц пожимала ей руку! Ее даже приглашали на какую-то закрытую встречу с летчиками-героями и с Ленинградским исполкомом. Мальчишки всей средней школы на следующий день караулили ее перед уроками, и как

только она появилась во дворе, сразу забросали вопросами. Но Санька лишь пожала плечами и сказала, что ничего особенного: просторные залы, натертая до блеска форма летчиков, вкусные шоколадные конфеты и красивая машина «Победа», на которой ее везли обратно домой. Уйти ей пришлось рано – дома был недоделан русский.

Мальчишки разинули рты, но Санька уже спешила на уроки. Зауважали еще больше – она совершенно не умела зазнаваться. Ничего в ней не изменилось после той встречи – прежние серьезные глаза, здравые мысли и четкие цели в голове. И желание помочь. Вся ее жизнь была выстроена вокруг этого – помогать людям.

В десятом классе Саньку выбрали председателем совета дружины. Ей давно исполнилось шестнадцать, и дядя Павлик замечал, как взрослеет и еще больше хорошеет его дочка. Санька, не теряя активности и безудержного, даже немного детского, оптимизма, приобретала взрослые черты – из тощей девчонки с болтающимися косичками и худенькой шеей она превратилась в стройную девушку с тонкой талией, вьющимися волосами и прежними большими серьезными глазами. От дяди Павлика не могло укрыться, с каким неподдельным интересом посматривают на Саньку юноши, и он чувствовал, что начинается пора треволнений. Он озабоченно вглядывался в ее лицо, когда они вместе шли по улице, а парни сворачивали шеи, но она с крайне равнодушным видом шагала рядом. И дядя Павлик до поры до времени успокаивался.

– Санька, тебе в артистки надо, – прошептала ей соседка по парте, когда она, прочитав стихи на литературе, чинно прошествовала на свое место.

В ту пору десятиклассники решали одну из самых важных жизненных проблем – выбор профессии. Приближался выпуск, и на всех переменах старшая школа обсуждала свое «будущее». Мальчишки как один готовились в летные школы, инженерные институты; девчонки, затуманенные перспективами стать великими актрисами, знали, что судьба им – педагогический, инженерный или на худой конец – швейное училище, и лишь смиренно вздыхали.

Санька твердо решила – в артистки она не пойдет. Больше всего на свете она любила школу и город с львиными головами – вот, что нужно беречь и хранить. А делать это придется ее детям и внукам, и потому поступает она на учительницу русского и литературы, чтобы знания свои, не понаслышке схваченные, новому поколению и передать.

– Почему русский, Шустрик? – разводил руками дядя Павлик. – Ты над орфографией вечера просиживаешь, ужель твой конек? Я думал, с историей жизнь свяжешь. Или, правда, в театр...

– Любовь к Родине – лучшая история. Об этом все настоящие писатели и поэты пишут. И детям стоит почитать, чтобы потом своим детям передать. А те – своим расскажут. Так и потянется цепочка. А с русским – не беда, справлюсь.

И дядя Павлик в задумчивости замолкал.

– Я обещаю вам, львиные головы, передать все, что знаю, новому поколению. Память будет жить в его сердце, – клялась Санька поздним октябрьским вечером. Львы мудро и молчаливо взирали на нее, выпрямив каменные спины. – Я обещаю Вам и обещаю себе.

И с еще большим упорством принялась она подтягиваться по русскому.

В середине осени в «мальчишечьей» школе намечался литературный вечер. Санька к нему почти не готовилась – за эти годы она выучила и рассказала столько стихов, что впору сборник издавать. А потому на репетицию перед выступлением не пошла – занималась уроками. Санька даже не заметила, как стемнело, а когда посмотрела на часы, ахнула: до начала концерта оставалось десять минут.

Прибежав за кулисы, она едва успела отдышаться, как ее тут же вытолкнули на сцену.

Подмостки были ярко освещены, и зал тонул во мраке. Постепенно глаза привыкли к свету, и Санька, присмотревшись, заметила, что свободных мест в зале нет. На нее заинтересованно глядели притихшие, наверняка голодные, плохо одетые ребяташки; вихрастые мальчуганы и томные длинноволосые одноклассницы; члены совета дружины, уставшие учителя,

строгая администрация, работники столовой и даже технички. В одном из рядов мелькнуло очень знакомое лицо, но Санька не обратила внимания – ученики обеих школ собрались на концерт. Она не без удовольствия отметила, что ее имя на афише наверняка сыграло роль, ведь сейчас все с нетерпением ждали, когда же она начнет читать.

Санька любила благодарную публику, и, по обыкновению серьезным взглядом обведя зал, слегка улыбнулась, бойко вскинула голову и с удивлением для себя самой объявила:

– Корней Чуковский. Мойдодыр.

Зал зашумел, засмеялся. Санька заметила, как улыбка тронула суровое лицо директора.

– Кавалерова, ты спятила? – раздался из-за кулис приглушенный голос Вени Сапогова, режиссера самодеятельного театра. – У нас – Некрасов!

Но Саньке хотелось повеселить публику, этих голодных ребятишек – ее слушателей, пришедших сюда в холод и дождь. И она, еще раз тряхнув светлой головой, звонко произнесла:

Одеяло

Убежало,

Улетела простыня,

И подушка,

Как лягушка,

Ускакала от меня.

Со всей искусностью лягушки Санька принялась скакать по сцене. Зал зашелся в хохоте.

Я за свечку,

Свечка – в печку!

Я за книжку,

Та – бежать

И вприпрыжку -

Под кровать!

Заметив на сцене слегка потертый стул, Санька быстро запрыгнула под него, надеясь, что юбка не задралась до ушей. Зрители шумно захлопали. Какой-то малыш взвизгнул в первом ряду и со смеху выпал в проход.

Все предметы, которые только можно было найти на сцене, Санька задействовала в своем чтении. Она вскакивала на стул, залезала под стол, ложилась на пол, крутила в руках мячик, голосом бабы-Яги разговаривала с тряпичной куклой и танцевала гопак с бутафорской метлой. Санькина фантазия была неудержима, и хохот зрителя лишь сильнее раззадоривал ее. За кулисами ругался Веня, но его быстро заткнули другие артисты, которые тоже надрывали животики.

Давайте же мыться, плескаться,

Купаться, нырять, кувыркаться

В ушате, в корыте, в лохани,

В реке, в ручейке, в океане, -

И в ванне, и в бане,

Всегда и везде -

Вечная слава воде!

-Вечная слава воде! – еще раз повторила Санька и картинно вскинула руки вверх.

В зале поднялся шум. Задвигались стулья, тут и там слышались крики «браво». Вытирая платочками слезы, зрители аплодировали стоя.

Санька несколько раз поклонилась и уже собралась убежать с подмостков, как вдруг увидела, что из-за кулис ей машут руками и пальцами указывают на зал.

Она обернулась и увидела молодого человека, неловко стоящего возле ступенек и протягивающего ей скромный букетик цветов. Это его лицо показалось столь знакомым. Санька вышла на авансцену и ахнула на весь зал.

Мишу Алексеева она не видела с сорок второго года. Его отправили в эвакуацию с третьей волной, и Санька помнила, как не хотелось ему уезжать. Наверное, как у тысяч детей того времени, их судьбы были удивительно схожи – Мишин отец погиб на передовой, мать умерла в эвакуации. Миша сбежал под Сталинград, к партизанам, и даже получил два ордена при выполнении заданий. После войны он жил в Москве, в стареньком общежитии, работал на фабрике и учился в дышащей на ладан вечерней школе, а теперь вот приехал в Ленинград.

Все это Миша рассказывал, пока они медленно шли домой. Санька молчала и внимательно разглядывала его: такой же курчавый, светловолосый, только вырос раз в десять и возмужал, а улыбается по-прежнему неловко и стесняется чего-то. Прямо как дядя Павлик. Везет Саньке на стеснительных мужиков. А чего стесняется? Наверное, башмаков своих разбитых и шрама на лице в пол щеки. И одежда у него совсем плоха, надо бы починить.

– Ты вот что, – деловито сказала Санька, когда они остановились возле ее дома. – Идем к нам, будешь там жить.

Миша испуганно завертел головой. Он совсем не для этого искал Саньку. И ведь даже не говорил, есть ли у него жилье в Ленинграде. А она сама все поняла...

Санька сдвинула брови.

– Ты где учишься?

– Нигде, – тихо пролепетал Миша.

Санькин напор он помнил с детства, с тех самых пор как увидел ее – на стройке школы. Она тогда прыгала по двору – выстраивала ребят в шеренгу, а Миша тихонько выглядывал из-за угла, одолеваемый любопытством и желанием присоединиться, но жутко боясь этой смелой девчонки.

А засмотревшись, поздно заметил на себе пристальный взгляд, и, вздрогнув, шмыгнул обратно, но Санька уже кричала:

– Эй, курчавый! Чего стесняешься, работа не ждет!

В тот самый день Миша Алексеев и влюбился в Саньку Кавалерову.

Он помнил, как она сидела перед ним за партой и, наклонив узкую худенькую спину, что-то быстро писала в тетради, а он боролся с желанием дернуть длинные, аккуратно заплетенные косички. Помнил, как они вместе тушили «зажигалки», таскали соседям воду из Невы и стояли в очередь за хлебом. Санька была слишком бледная, с впалыми щеками и все равно ужасно красивая. Каждый день они давали театральные представления в ее доме: он играл осла, зайчика и пушкинского Руслана, а она – всех, кто только приходил ей на ум. Соседи и знать не знали, что домой Миша тащил эту вечно веселую девчонку на руках – она была совсем без сил.

Уезжая в эвакуацию, он взял у нее фотокарточку и не расставался с ней даже в партизанской землянке. И по приезду в Ленинград Санька была первая, кого он бросился искать.

– Так почему не учишься?

Он замялся, обуреваемый страстным желанием поцеловать это милое строгое личико с серьезными глазами, и Саньке опять не потребовалось ответа.

– Понятно. Я устрою тебя в нашу школу. За год подтянешься, сдашь экзамены, дальше посмотрим. Жить будешь у нас. Проходи.

С этими словами она распахнула дверь столь знакомой парадной.

Дядя Павлик встретил Мишу ласково, не произнося ни одного лишнего слова. Он усадил его за стол и, накормив кашей с хлебом, принялся расспрашивать о жизни. После разложили старое кресло, и Санька, постелив белье, заботливо уложила Мишу спать.

Когда она вернулась на кухню, дядя Павлик скручивал махорку и задумчиво глядел в окно. Санька знала, о чем он думает.

– Мы справимся, вот увидишь, – она обняла его за шею, и дядя Павлик, тяжело вздохнув, потрепал Саньку по щеке. – Я не могу бросить Мишу, ты же знаешь.

– Знаю, – снова вздохнул дядя Павлик и подумал о том, что хоть карточная система и отменена, а жить легче не стало. И где-то на юге снова начинается голод, потому что с зерном совсем худо. – Знаю, Шустрик. Конечно, справимся.

Так они зажили втроем. Санька похлопотала, и Мишу действительно взяли в школу. По вечерам он работал на заводе, а после, до самой ночи, они с Санькой сидели за учебниками. Ему тяжело давалась программа десятого класса – в московской вечерней школе знаний получали немного. Но с Санькой Миша был готов заниматься хоть целую вечность, поэтому терпеливо сносил упреки.

– Ну, тут же совсем легко, дубовая твоя голова! – разъясняла ему Санька. – Читай еще раз: Из пункта А в пункт Б вышли двое рабочих...

– И зачем им идти из этих пунктов? Машины, что ли, нет? – удивлялся Миша, а Санька скатывала губы в трубочку и сердито смотрела на него.

– Чему вас только в партизанской школе учили? – качала она головой.

– Как фашиста учуять учили. Как бой вести. Как гранату бросать... Там как-то не до задачек было.

– Ты говорил, в землянке учебники лежали? – хмурилась Санька.

– Лежали, – не спеша отвечал Миша. – Русско-немецкий словарь. Один на весь отряд. Но я читал много, – быстро поправлялся он, видя, как у Саньки раздуваются щеки. – Все, что под руку попадет. Обычно газеты...

И Санька тяжело вдыхала.

Но все-таки Миша был смывленным и достаточно быстро схватывал уроки. Особенно ему давался русский: прочитал разок правила – и уже грамотно пишет. Спустя время Миша взял вверх над Санькиными знаниями, что особенно ее злило, а Мишу с дядей Павликом заставляло улыбаться и подтрунивать над ней.

Приближалось лето, и в мае ребята перебрались заниматься во двор. Ленинград расцвел, зазеленел, и теплые белые ночи наступали на город. Не за горами был выпускной, и в тесном дворике, окутанном домами, то и дело заходили разговоры о том, где бы достать новые туфли и красивую брошку для платья. В один из таких вечеров, забравшись на скамейку и отложив учебник, Санька, беззаботно болтая ногами, рассказывала Мише о том, чем она займется после школы.

– Я никогда не уеду из Ленинграда. Даже не подумаю, ведь это мой город. Знаешь, Миша, я встречала людей, для которых Родина не имеет значение. Они могут вырасти в одном месте, учиться в другом, поступить на работу в третьем. Наверно, если бы не школа и блокада, и не

львы на Грибоедова, я тоже могла быть такой... Но после той зимы, мне кажется, ни Ленинград без нас, ни мы без него... Как ты считаешь?

И она внимательно посмотрела на него. Миша вспомнил лютые декабрьские метели сорок первого, и Саньку, по уши замотанную в телогрейку и платки, и большие серьезные глаза, и то, как тогда, ему, девятилетнему мальчику, вдруг захотелось ее поцеловать.

А сейчас эти глаза стали еще больше и еще серьезнее. И Санька сидела так близко, и от нее пахло душистыми, только что сорванными цветами, а волосы с полураспустившейся косой переливались в лучах заходящего солнца... Миша поцеловал ее быстро, безудержно, ощутив на губах привкус чего-то сладкого, безумно приятного, и успев почувствовать то, с каким трепетом она отозвалась на его поцелуй.

Только спустя несколько месяцев Миша, будучи уже студентом военного института, узнал, что Санька его по-настоящему любит и тоже, наверное, влюбилась еще в том самом первом классе.

Ровно через год они поженились. Свадьба была скромной: дядя Павлик, пара соседей по квартире, нянечка и Витя Услаев, приютский; Санькины подружки из института и Мишины однокурсники. Миша достал где-то пакет апельсинов и ананас, а дядя Павлик принес водку и приготовил узбекский плов. Поздним вечером, когда все гости разошлись, а дядя Павлик, натыкаясь на каждый угол, пошел спать, Миша взял Саньку за руку, и они отправились гулять.

Ах, эти белые ленинградские ночи... Вы безмолвны и тихи, лишь Нева плещет о причалы, напевая свою заунывную песню... Вы преисполнены страстью и загадочностью, и влюбленные юнцы ищут в ваших мирах встречи с любимыми... Вы несете свет и тепло, помогая старикам забыть о треволнениях, а молодым – предаваться мечтам... Вы – сердце этого покалеченного, побитого, но не павшего духом города...

Санька с Мишей остановились возле Ростральных колон и долго смотрели на покачивание невских волн, на суровый, совсем недавно отреставрированный Зимний Дворец, мост и проезжавшие машины. Санька прислонилась к Мишиному плечу и изо всех сил сжала его руку.

– Ты мне кости сломаешь, – тихо засмеялся Миша и, мягко убрав прядь волос с Санькиного лица, поцеловал ее в губы.

– Я ужасно боюсь тебя потерять, – призналась она, сильнее прижимаясь к мужу. – Я внезапно вспомнила, как мы стояли с тобой у Ростральных перед самой войной. Помнишь, мы громко хохотали и бросали камешки в воду, и они так здорово подскакивали – прыг-скок, прыг-скок... А потом...

Санькин голос дрогнул.

– Ну, полно, – погладил ее по голове Миша. – Не надо в день нашей свадьбы об этом думать. И вообще... не надо.

– Нет, Миш, – Санька резко отклонилась от него. – Ты – вылитый дядя Павлик. Как же так? Если мы не будем помнить, то кто станет? Мы воспитаны блокадой, и другого детства не знаем. Прошлое нельзя забывать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.